

Фигуры будущего в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?»»

Anatoly Korchinsky

Figures of the Future in Nikolay Chernyshevsky's Novel «What Is to Be Done?»

Анатолий Корчинский

Российский государственный гуманитарный университет, заведующий кафедрой теории и истории гуманитарного знания, доцент; кандидат филологических наук
korchinsky@mail.ru.

Anatoly Korchinsky

Russian State University for the Humanities, Chair of the Department of Theory and History of Humanitarian Knowledge, Associate Professor; PhD
korchinsky@mail.ru.

Ключевые слова: виртуальное, возможное, становление, мессианское время, другая историчность

Keywords: virtual, possible, becoming, messianic time, alternative historicity

УДК: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_544

UDC: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_544

В эссе, предлагаемом вниманию читателя, выдвигается гипотеза, что роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» представляет собой один из образцов альтернативного осмысления темпорально-исторического режима классического модерна. Другой тип историчности не отрицает господствующей модели историзма («историзма развития»), но изнутри него осуществляет радикальную пересборку самого темпорального порядка, а именно соотношений прошлого, настоящего и будущего; бытия и становления; необходимости и контингентности; актуальности и виртуальности (возможности); истории и утопии. Автор работы опирается на новое прочтение классической теории романа и современные подходы к пониманию современной исторической темпоральности, выявляя специфические для текста Чернышевского повествовательные и коммуникативные формы, нацеленные на активизацию и эмансипацию исторического воображения читателя.

This essay proposes a hypothesis that Nikolay Chernyshevsky's novel «What Is to Be Done?» represents a model for an alternative understanding of the modern temporal-historical regime. This alternative type of historicity does not deny the dominant model of historicism («developmental historicism»), but carries out a radical reassembly of the temporal order itself from within. Specifically, it reconfigures the relations between past, present, and future; being and becoming; necessity and contingency; actuality and virtuality (possibility); history and utopia. Drawing upon a new reading of classical novel theory and contemporary approaches to modern historical temporality, the author identifies narrative and communicative forms specific to Chernyshevsky's text that aim to activate and emancipate the reader's historical imagination.

Представляется, что связь с будущим, присутствие будущего в настоящем свершается лицом к лицу с другим. Тогда ситуация лицом к лицу есть само свершение времени. Захват настоящим будущего — не акт (жизни) одинокого субъекта, а межсубъектная (intersubjective) связь. Ситуация бытия во времени — в отношениях между людьми, то есть в истории¹.

В теории романа есть одно противоречие, касающееся такой важной вещи, как время. Кажется, лучше всего это противоречие схватил М.М. Бахтин. В ряде

1 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека / Пер. с фр. А.В. Парибка. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. С. 81.

своих работ он говорит об определяющей для жанра установке на непрерывное становление, безосновность и нестабильность значений и оценок, погоно за актуальным настоящим и — через это — устремленность в будущее: «Этим и создается радикально новая зона построения образов в романе, зона максимально близкого контакта предмета изображения с настоящим в его незавершенности, а следовательно, и с будущим»². «Модернистичность» романа и его историзм, таким образом, заключаются в том, чтобы, синхронизируя все сюжетные и собственно исторические последовательности в настоящем, выстраивать их вдоль единой оси хронологического времени, подобного стреле, устремленной из прошлого в будущее. Казалось бы, перед нами образцовое описание современного режима исторической и художественной темпоральности.

Однако, развивая идею всеобщего становления далее, Бахтин приходит к тому, что на деле этот процесс оказывается вовсе не таким линейно-поступательным, как можно было бы ожидать. В частности, герой романа, полагает он, никогда не совпадает с самим собой³, но не только в том смысле, что он односторонне изменяется, переходя от одних состояний к другим, от потенций — к их актуализации. Настоящее оборачивается не просто гомогенным континуумом транзита между прошлым и будущим, оно отличается диффузной и композитной текстурой. Оно то вторгается в будущее, то продолжает нести в себе элементы прошлого. При этом и в будущем, и даже в прошлом, помимо возникающих и уходящих явлений актуальной действительности, словно пустоты в движущейся массе вещества, содержатся невоплощенные возможности и «неосуществленные требования»⁴. Настоящее раскрывается как время, в котором человек, подобно кэрролловской Алисе, одновременно (а не последовательно) является и больше, и меньше самого себя⁵. Единый процесс распадается на несколько серий, обнаруживая в себе синхронность асинхронного, множественность временных темпов и планов. Неудивительно, что такая темпоральность на уровне повествования взрывается разноречием, причем не только социальным, но именно темпорально-историческим: «...в каждый данный момент сожительство языки разных эпох и периодов социально-идеологической жизни»⁶. Текущее оказывается пересечением разнонаправленных потоков: «это — воплощенное сосуществование социально-идеологических противоречий между настоящим и прошлым, между различными эпохами прошлого, между разными социально-идеологическими группами настоящего <...> и т.п.»⁷.

Гипотетически это романное становление может достигать такой эксцентричности, что, расшатывая настоящее как связующее звено хронологии, оно может ставить под сомнение сам принцип «деления на до и после, на прошлое и будущее»⁸, выявляя не ход, не развитие, а «сжатие», «аббревиацию» истори-

2 Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 634.

3 Там же. С. 640.

4 Там же.

5 Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я.И. Свирского. М.: Академический проект, 2011. С. 9.

6 Бахтин М.М. Там же. С. 44.

7 Там же.

8 Делёз Ж. Указ. соч. С. 9.

ческого времени⁹, его скачкообразную¹⁰, эксплозивную структуру. Полагаю, мы можем указать по меньшей мере на один роман, который в полной мере воплотил в себе этот парадокс современной исторической темпоральности. Может показаться странным, но речь идет о «Что делать?» Чернышевского.

На первый взгляд, появление «новых людей», которое, по мнению автора романа, может привести к универсальной культурной и общественной трансформации, описывается им в режиме хоть и ускоренного, но планомерного развития. Еще вчера, когда рассказчик был молод, хотя он и теперь «не очень старый, даже вовсе не старый человек»¹¹, этих людей не было. Затем появились единицы, которые не понимали сути своей новизны, далее возникли отдельные представители уже собственно нового типа, а делом будущего является то, чтобы «новыми» стали вообще все люди. Своей миссией романист видит, во-первых, правдивое описание народившегося типа, во-вторых, объяснение публике его жизненной философии и психологии, их нравственного и социального воображения. Условия возможности для своей работы он артикулирует как темпоральный парадокс:

Есть в тебе, публика, некоторая доля людей, — теперь уже довольно значительная доля, — которых я уважаю. <...> Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами, но вас уже не мало, и быстро становится все больше. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою, — поэтому мне еще нужно и уже можно писать (11).

С одной стороны, здесь имеет место последовательный переход от потенции к актуализации: часть публики, которой не нужно объяснять смысл романа, должна стать всею публикой. С другой стороны, сам дискурс романа характеризуется своего рода темпоральной запутанностью: он обращен к публике, которая пока не является собственно публикой, при этом нельзя сказать, что эта публика еще не существует как таковая. Ее существование мерцает, она существует и не существует в одно и то же время.

Риторический принцип *pars pro toto* здесь действует с поправкой на темпоральность: отдельный человеческий тип не просто синекдохически заменяет людей вообще, но в будущем часть буквально должна стать целым. При этом в ходе развертывания романного высказывания парадокс темпоральный превращается в парадокс перформативный: с повествования о героях автор пере-

9 Беньямин В. О понятии истории // Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения / Пер. с нем. И. Болдырева, А. Белобратова и др. М.: РГГУ, 2012. С. 249; Агамбен Дж. Оставшееся время: комментарий к Посланию к римлянам / Пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 193.

10 Отметим любопытное сходство теоретических метафор двух очень разных мыслителей, значимых здесь для нас: «тигриный прыжок в прошлое» Беньямина и «скачок в прошлое» Делёза: Беньямин В. Указ. соч. С. 246; Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза / Пер. с фр. М.: ПЕР СЭ, 2001. С. 269.

11 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 11. М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1939. С. 145. Далее ссылки на данное издание романа даются в тексте статьи в круглых скобках с указанием страницы.

ключается в режим беседы с читателями, уничтожая нарративную «четвертую стену», при сохранении диететической повествовательной формы. Возникает гибридная речь: фикциональность совмещается с метафикциональной адресацией к читателю, нарративность то и дело оборачивается перформативностью пропагандистского слова. Читателю предлагается совершить темпоральный и когнитивный скачок, восприняв как образец то, образ чего едва возникает под пером прямо здесь и сейчас. Существование этого образа как репрезентации реального социального типа совсем не очевидно¹², хотя и описывается на фикциональное по своей природе свидетельство очевидца в лице нарратора, а сама эта эвидентность, нормативная для реалистической литературы, преподносится в романе сквозь призму игры и пародии.

Мы оказываемся лицом к лицу с симулякром, который, однако, не есть подмена или фантом, а нечто не имеющее предсуществующей ему идеи, оригинала, истока или начала. Симулякр в данном случае стоит понимать строго по Делёзу — как вторжение виртуального, «модель Иного»¹³, сочетающего в себе (в настоящем) возможность, корнящуюся в прошлом, и дифференцирующий акт появления нового в будущем, который вновь отбрасывает назад в прошлое собственную возможность. «Новые люди», являющиеся и героями, и частью публики, — это множество одновременно известное и неопределенное, то, о чем уже можно рассказывать в прошедшем времени, и то, что пока можно вообразить лишь приблизительно.

Роман как дискурсивный гибрид не просто пытается сконструировать своего читателя (в глазах читателя же), эксплицитно и имплицитно ведя сложную игру с разными категориями адресатов¹⁴, но и сам оказывается в тотальной структурной зависимости от неявной и ускользающей субъектности этого читателя. Этот читатель находится в открытом и непредсказуемом будущем, области рождения нового, на него возлагается надежда, что он не просто усвоит опыт героев, но и сам станет агентом исторического творчества. С одной стороны, роман распахнут в будущее на уровне фабулы, о чем свидетельствует комически-парадоксальная шестая глава, где мы буквально переносимся на два года вперед, в 1865 год, притом что время наррации совпадает с временем создания романа (1863). С другой стороны, сам этот повествовательный акт наделен перформативностью (в том числе от слова «перформанс», коль скоро глава, называемая «Перемена декораций», ретроспективно кодирует все описанное ранее через метафору театра). Он переключается с финалом четвертого сна Веры Павловны, где онейрические «сестры» предлагают героине говорить всем о светлом будущем, приближать его, «переносить из него в настоящее, сколько можно перенести» (284). Это послание как бы прорывается из диететического мира в мир читателя, частично совпадая с речью повествователя-резонера и апеллируя к самому коммуникативному событию романа как акта

12 В частности, потому, что отсылает оно не столько к внелитературным реалиям, а к литературному ряду, прежде всего, к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».

13 Делёз Ж. Логика смысла. С. 334.

14 Подробнее см.: Drozd A. Chernyshevskii's «What is to be Done?»: A Reevaluation. Evanston: Northwestern University Press, 2001. P. 70–74; Руденко Ю.К. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»: Эстетическое своеобразие и художественный метод. СПб.: Издательство Сергея Ходова, 2018. С. 19–74; Vaysman M. Self-Conscious Realism. Metafiction and the Nineteenth-Century Russian Novel. Oxford: Legenda, 2021. P. 42–45.

высказывания и акта чтения. Будущее, сливающееся с настоящим, практически утрачивает роль категории повествовательного времени, превращаясь в экстрадиететическое, историческое время, в котором здесь и сейчас обитает читатель.

Попробуем в свете сказанного уточнить некоторые специфические свойства романной темпоральности «Что делать?».

Время времен: темпоральность виртуальная и мессианская

Хронотоп романа можно определить как виртуальный и мессианский в одно и то же время. По своему концептуальному происхождению данные определения весьма различны, да и теоретическое соотношение между ними не так ясно, как хотелось бы. Однако мы попробуем в меру сил его прояснить и превратить в исследовательский инструмент, поскольку видим ряд важных и полезных для нашего анализа смысловых пересечений между ними.

Понятие виртуального восходит к Бергсону, становясь впоследствии ключевым для Делёза, его последователей и толкователей¹⁵. Виртуальное — это модус существования реальности, находящейся в интенсивном становлении. Он представляет собой («еще» или «уже») неактуализированное состояние вещей или свойств. Виртуальное отличается от традиционной философской категории возможного (потенциального) в том случае, когда последнее описывает некоторое абстрактное представление о том, что не есть (или не реально), но может появиться в будущем. При таком описании в темпоральном отношении потенция всегда предшествует своей реализации. Виртуальное же, с одной стороны, не существует предвечно, не предшествует актуализации, а возникает вместе с ней и ретроактивно вписывается в прошлое как возможность такой актуализации. С другой стороны, виртуальное — это не идея, которая просто воплощается в некоторой вещи, являющейся ее копией. Оно, наоборот, обеспечивает возможность рождения нового, никогда прежде не существовавшего в качестве какой-либо идеи. В результате становление, то есть актуализация виртуального и виртуализация актуального, оказывается не стадийной последовательностью смены прошлого, настоящего и будущего, а одновременным и частично обратимым (повторяемым) процессом: прошлое и будущее как области виртуального «сжимаются» в настоящем, образуя асимметричную циркуляцию, трансформирующую актуальное в виртуальное и обратно.

Мессианское время — это понятие Бенямина, значимое впоследствии для таких мыслителей, как Деррида и Агамбен (нас будет интересовать версия последнего). По сути, речь идет о теоретической перекодировке известного религиозно-теологического представления, которое в превращенной форме позволяет более глубоко схватить структуру современной исторической темпоральности. Собственно мессианское время представляет собой хронологический

15 См., например: *Lampert J.* Deleuze and Guattari's Philosophy of History. London: Continuum Books, 2006; *DeLanda M.* Deleuze: History and Science. Saas-Fee: Atropos Press, 2010; *Lundy C.* History and Becoming. Deleuze's Philosophy of Creativity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012; *Virno P.* *Déjà Vu and the End of History*. London; New York: Verso, 2015.

отрезок между текущим «сейчас» и гипотетической точкой грядущего «конца времен», что, например, в христианском варианте соответствует зазору между первым и вторым пришествиями Христа. Это междувремя, «время конца»¹⁶, отличается крайней неопределенностью, так как дата конца неизвестна и, по слову Беньямина, «каждое мгновение есть калитка, в которую может войти мессия»¹⁷. В нем пересобирается прошлое, в котором выявляется подавленный и не раскрытый ранее потенциал. Прошлое, таким образом, мыслится как то, что уже было, но все еще может быть, — как резервуар онтологических возможностей. В мессианском времени происходит «избавление», «спасение» или, может быть, лучше сказать, *исполнение* этих неисполненных обещаний и требований. Так же, как и в концепции виртуального у Бергсона и Делёза, потенциальность мыслится здесь не как идеальный план развития, который должен с необходимостью осуществиться, а как нечто реальное, что уже имело место, но не было актуализировано полностью и еще может исполниться. Мессианское «исправление мира» не обязательно является соблюдением некоего предшествующего образца, оно может оказаться неожиданным, поскольку привносит в жизнь новое — различие, множественность, вариативность и контингентность. Несмотря на важность прошлого и будущего, мессианская темпоральность концентрируется в настоящем (*Jetztzeit* Беньямина), являющем собой диалектическую «констелляцию» различных времен. Это — «оперативное время»¹⁸, которое, хотя и находится внутри хронологии, представляет собой процесс сборки самого времени — «время внутри времени», *время времен*. В нем сжимается и спрессовывается, подвергается «резюмированию» и «аббревиации» время истории, итожится прошлое и будущее. Агамбен, вслед за лингвистом Гюставом Гийомом, связывает это время не с темпоральностью мира, о которой можно было бы рассказать, а с временем самого акта высказывания. В этом смысле мессианское время — это не просто некое необъективируемое время, переживаемое субъектом, а интересубъективное время коммуникации, время сообщества.

Обе эти концепции оппонируют гегельянской идее становления, где главную роль в диалектическом движении истории играет отрицание, которое, с одной стороны, является оператором стадияльного перехода, постоянно потенцируя наличную действительность, а с другой стороны, позволяет в снятом виде сохранить структурное тождество того, что есть, с тем, что было, могло и может быть. Здесь принципиальны единство, сукцессивность и целенаправленность процесса. В своем истолковании гегельянства Чернышевский также значительно отклоняется от этой модели¹⁹. По нашему мнению, это альтернативное темпоральное воображение воплотилось именно в «Что делать?».

Как уже говорилось, сюжетное время романа резко сближает прошлое, настоящее и будущее, порой устранив границу между ними. Однако здесь важно различать две вещи: время собственно историческое, которому более или ме-

16 Агамбен Дж. Указ. соч. С. 86.

17 Беньямин В. Указ. соч. С. 250.

18 Агамбен Дж. Указ. соч. С. 89.

19 Аргументы в пользу этой гипотезы см.: Корчинский А. «Жертва — сапоги всмятку»: этическая экономика в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» // Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения. Сборник статей / Под ред. Й. Херльта, К. Цендера. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 113 и далее.

нее соответствует сюжет, и время символическое, представленное в основном в четвертом сне Веры Павловны.

Итак, мир «новых людей» утверждается в настоящем и продолжается в обозримом историческом будущем, когда в результате ряда итераций все люди станут людьми новыми. Появился этот тип некоторое время назад. Впрочем, учитывая его генеалогию, восходящую к романтикам и «лишним людям» середины XIX века, границы настоящего, отмеченного зарождением этого типа, смещаются на несколько десятилетий назад. Кроме того, в прошлом им предшествуют люди вроде Марьи Алексевны, которые, не являясь в собственном смысле предтечами «новых людей», во-первых, несут в себе сходные с ними черты (предприимчивость, прагматизм, расчетливость, активная жизненная позиция), во-вторых, могут запускать процессы, которые, как кажется на первый взгляд, «исторически», то есть необходимо, привели к появлению «нового человека», например Веры Павловны.

Однако взаимопроникновение временных планов этим не ограничивается. В романе есть заметная асимметрия между прошлым и будущим. Если будущее — это лишь распространение нового типа на все человеческое сообщество, то прошлое — это грандиозная история человечества как таковая (в этом плане примечательно, что написание «Что делать?» пришлось на перерыв в работе Чернышевского над переводом «Всемирной истории» В.К. Шлоссера²⁰). Повествователь на протяжении романа отсылает к различным историческим фактам и персоналиям, ставя их в комическое соответствие героям и сюжетным ситуациям романа. Наполеон при Ватерлоо напоминает Марью Алексевну, маршал Груши — Павла Константиновича, а Лафайет — Верочку. Поведение Сторешникова, принимающего несамостоятельное решение сделать Веру своей любовницей, сопоставляется с политической инерцией в истории народов, примерами которой «наполнены труды Юма, Гиббона, Ранке и Тьерри» (33). Авантюрные события первой главы ассоциируются с историческими «мошеничествами» Луи Филиппа, Метерниха и др. В свидетели будничного характера «надувательств» призываются Видок и Ванька Каин. Вся эта комедия истории, впрочем, оборачивается в пользу честных и бесхитростных людей, за которыми — будущее, в связи с чем с мягкой иронией упоминаются споры о «законах исторического прогресса» (118) в кружках «новых людей». Чернышевский пародирует не только метод исторических аналогий, распространенный в сочинениях историков и публицистов, но и саму объяснительную логику современного ему историзма, выводящего феномены настоящего и будущего из прошлого путем сплошной детерминации, опирающейся на представление о необходимом характере прогресса и поступательного развития. Второй сон Веры Павловны и «Похвальное слово Марье Алексевне» пародийно прославляют фактор исторической потенциальности, понятой как негативность: злая мать Веры будто бы создает необходимое условие для того, чтобы дочь стала «новым человеком», так как, пусть и преследуя иные цели, а именно выгодное замужество, дала ей неплохое образование. Эта и иные квазигегельянские конструкции романа (например, рассуждение о реальной и фантастической грязи из второго сна, которое, кроме евангельской притчи о семени и почве, может напомнить диалектику господина и раба из «Фено-

20 Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1859–1864). М.: РОССПЭН, 2019. С. 225.

менологии духа») окружают аргументы «историзма развития»²¹ как господствующего режима исторической темпоральности ореолом пародийности, не отвергая их, но параллельно выстраивая иную историческую логику.

Рядом с истористской схематикой в романе присутствует символическая разметка исторического времени, с которым, помимо прочего, связана так называемая утопическая тенденция текста. Утопизм Чернышевского не является традиционным, поскольку лежит в плоскости альтернативной историчности: идеальное коммунистическое будущее преподносится не как религиозно или метафизически необходимый и закономерный финал истории, а как контингентная возможность, причем сгенерированная исключительно индивидуальным воображением героини, связанным с ее уникальным жизненным опытом.

Фабула четвертого сна полностью привязана к частной истории Веры. Символическая история мира выглядит в нем как чередование фаз ее собственной жизни. Век Астарты, когда женщина была рабыней мужчины и жила в мире насилия и подчинения, ассоциируется с унижительными домогательствами Сторешникова. Век Афродиты, когда мужчины поклонялись женской красоте, но не видели в женщинах равных себе, это как бы первый брак Веры Павловны с Лопуховым, который «пожертвовал» для нее своей карьерой, но, как выясняется, не любил ее по-настоящему и поэтому не вполне допускал в ней свободу, автономию и подлинную субъектность. После этого Вера проходит через ряд нравственных испытаний: она чувствует стыд за любовь к Кирсанову, которую она первоначально считает изменой мужу; в дальнейшем она — пусть и недолгое время — винит себя за «самоубийство» Лопухова. Результатом всех этих моральных перипетий по выяснении их ложного (в свете новой этики) характера и того, что бывший муж остается жив, становится обретение невинности, что в символическом строе четвертого сна соотносится с фигурой «Непорочности». И, наконец, лишь в новом браке Веры Павловны, гимном которому и становится сновидение-утопия, в ней раскрывается она сама — счастливая, любящая и любимая женщина, онейрически отождествляющаяся с «младшей сестрой» — царицей или богиней любви. Мы еще вернемся к тому, почему именно любовь монтируется здесь с мечтой о коммунистическом будущем, а сейчас отметим только то, что касается структуры времени.

Очевидно, что эти символические фигуры прошлого соотносятся не с мифологией или религиозным нарративом, а опять-таки с фазами всемирной истории — Древним миром, классической Античностью, Средневековьем и Современностью. Любопытно при этом, что последняя фаза не разделяется на временные порядки, как в остальном тексте романа, например на комически-позорное прошлое, обнадеживающее настоящее и утопическое будущее. Можно это объяснить тем, что сама современность (пусть и пародийно, но уже описанная с точки зрения исторического времени, исторической науки и историософии) в символическом измерении понимается как единый эон, включающий в себя актуальные факты и виртуальные возможности становления. Предшествующая же история есть предыстория этого исторического становления, а символические женские фигуры — это «фигуры будущего»²², резюмирующие всеобщую историю, собирая ее в универсальный цикл мессианского

21 *Bevir M. Historicism and Critique // Philosophy of the Social Sciences. 2015. № 45. P. 227–245.*

22 *Агамбен Дж. Указ. соч. С. 100.*

времени. Подобной фигурой, предвещающей мессию, у апостола Павла был, например, ветхий Адам. Смысл мессианского времени в том, что не прошлое рассматривается как ресурс для будущего, а наоборот, будущее может принести «искупление всему, что было»²³, воплотив в жизнь несбывшиеся чаяния людей. В этом смысле судьбы исторических «фигур будущего» исполняются в мире новом, а история заключается в том числе в пересборке прошлого.

Рекурсивная логика символического повторения больших циклов времени в малых, в том числе подразумевающая гомологию исторического филогенеза и биографического онтогенеза, с одной стороны, вновь заставляет вспомнить о романтическом и гегельянском историзме²⁴. Однако содержание этой структурной модели здесь несколько иное: символическое соответствие личной судьбы (Веры Павловны, получившей шанс на обретение счастья) и всемирной истории указывает не на необходимость тех или иных событий, а наоборот, демонстрирует контингентный, кайротический характер временных серий. Сами же эти соответствия — особенно если учесть, что они даны в виртуальной оптике сна, — напоминают скорее не синекдохическую соотнесенность части и целого, а серию совпадений, выстроенную в соответствии с коинсидентальной диалектикой²⁵: события упорядочены не случайно и не закономерно, а соответственно уникальной исторической связи, которую можно отследить лишь в конкретной констелляции. Поэтому и речь младшей сестры-богини, как было отмечено, по стилю совпадающая с авторской, представляет собой назидание, которое выглядит не как пророчество о неизбежном итоге человеческой истории, а скорее как призыв к личному и коллективному усилию героев и читателей, обращенному в будущее.

Обычно утопия выступает как экспликация защищаемых автором принципов оптимального общественного устройства. У Чернышевского в четвертом сне Веры Павловны собственно социально-проективная часть редуцирована и замещена скорее эстетической. Сами же новые принципы инсталлированы в основной хронотоп романа, который мы выше договорились называть историческим. Этот хронотоп характеризуется парадоксальностью, отмеченной Бахтиным. С одной стороны, это актуальное настоящее, переходящее в будущее и синхронизирующее сюжетные линии: все «новые люди» осваивают новые экономические и эстетические принципы и на их основе строят будущее. С другой стороны, очевидно, что эти интервенции в будущее они осуществляют в различном темпе. Собственно, та единственная иерархия («обыкновенные» и «необыкновенные» люди), которая имеется среди героев нового поколения, является не сущностной или ценностной, но сугубо темпоральной. Рахметов и такие, как он, продвигаются в будущее более стремительно, чем Лопухов, Кирсанов и даже Вера Павловна с ее проектом швейной коммуны.

Именно в свете этой мультитемпоральности становится ясна выдвигаемая Чернышевским и его героями социальная философия, которую часто пони-

23 Там же. С. 61.

24 См.: *Kliger I. Auto-Historiography: Genre, Trope, and Modes of Emplotment in Aleksandr and Natal'ja Gercen's Narratives of the Family Drama // Russian Literature. 2007. Vol. 61. № 1–2. P. 103–138; Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68 (4). С. 102–127.*

25 *Регев Й. Коинсидентология. Краткий трактат о методе. М.: Транслит, 2015. С. 15.*

мают как нечто внутренне антиномичное: герои (включая Рахметова) исповедуют «разумный эгоизм» и в то же время стремятся к некоему коммунистическому идеалу, соединяют в себе отрицание самопожертвования и при этом часто действуют с максимальной самоотдачей. Иногда непонимание темпоральности романа ведет к тому, что его автору приписывают именно то, что в его тексте пародируется и профанируется, например рыночно-буржуазные установки и либеральный утилитаризм, которые он будто бы «парадоксально» сочетает с православной этикой и даже крипторелигией²⁶. Однако разгадка этих ложных парадоксов связана именно со своеобразием хронотопа, который, как утверждалось выше, сочетает в себе черты виртуального и мессианского.

Мы уже говорили, что в романе исчезает граница между настоящим и будущим. Теперь немного уточним этот тезис: главный исторический пафос «Что делать?» состоит в том, что с появлением нового человека время радикально меняется и начинается, если так можно выразиться, история будущего. Разумеется, это пришествие будущего не буквально, что означало бы конец времени и что иронически опровергается в последней главке романа. Это — виртуальное будущее-в-настоящем и в то же время мессианское «время конца».

Интрига романа заключается в постепенном раскрытии правил существования в этом наступившем будущем, которые, в соответствии с виртуальной природой изображаемого мира, как бы конституируются (в читательском воображении) по мере их артикуляции. «Обыкновенные новые люди» пытаются жить по правилам «разумного эгоизма», когда каждый прагматично блюдет свою выгоду. «Необыкновенные» — способны на большее благородство и живут для других или для гипотетического общего блага. Сначала кажется, что между этими установками есть противоречие. Но выясняется, что «разумность» предлагаемого эгоизма заключается как раз в том, что эгоистический интерес «нового человека» совпадает с благополучием ближнего. Выясняется, что Рахметов, этот «подвижник» и «аскет» новой идеи, тоже исповедует «разумный эгоизм», просто для него личное счастье заключается исключительно в счастье всеобщем. Людей более или менее отдаленного будущего объединяют одни и те же «экономические принципы», структурно аналогичные христианской любви и, возможно, любви вообще (ср. девиз шекспировской Джульетты: «чем больше я даю, тем больше остается»). Оказывающаяся ложной дилемма эгоизма и общего блага — это дилемма буржуазной политэкономии, от Адама Смита с его теологией «невидимой руки рынка» до Джона Стюарта Милля. Последнего Чернышевский упрекает в том, что он, признавая логическую возможность коммунизма, бесконечно откладывает вопрос об этой возможности, превращая ее в утопию в самом дурном смысле этого слова²⁷.

Темпоральная же модель «Что делать?» позволяет, наоборот, извлечь коммунистический принцип из будущего, приблизить его к настоящему и «заземлить» с отсылкой к обывательскому здравому смыслу (вспомним «похвальное слово Марье Алексевне», чей эгоизм Чернышевский считает абсолютно

26 Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 166–183; Кантор В.К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. С. 337–346.

27 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 9. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1949. С. 350.

естественным, хотя и еще не вполне «разумным»). По сути, этот концептуальный ход напоминает идею современного антрополога Дэвида Гребера, который считает коммунизм не несбыточным проектом далекого будущего, а базовым социально-нравственным механизмом, обеспечивающим самоорганизацию и взаимопомощь при решении людьми совместных задач в самых разных обществах, включая капиталистическое²⁸ (например, в проектной командной работе с ее эгалитаризмом и общей вовлеченностью в совместное творчество). В романе Чернышевского этот принцип выдвигается в качестве нового, но при этом в режиме пародии указывается на то, что он уже имел место в историческом опыте людей, например в Евангелии или в трудах тех же буржуазных политэкономов, пусть и являлся в иррациональном и противоречивом виде. Именно так работает темпоральность виртуального: возникая, нечто, словно тень, отбрасывает в прошлое собственную возможность, создавая не только новое, но и историческую традицию его становления.

«Экономические принципы» «новых людей» Чернышевского предполагают жизнь без жертв, кредитов, вины и долга. «Разумный эгоист», поступая, как и положено, альтруистически, никогда ничем не жертвует, чтобы не одалживать другого. Эта этика ликвидации долга на основе преследования собственных интересов переворачивает с головы на ноги темпоральность капитализма. Дело в том, что институт кредита (вспомним, что оба родителя Веры Павловны ростовщики!) есть не что иное, как захват будущего в рабство текущего дня²⁹. Утопия коммунизма в этой картине мира невозможна и отнесена к будущему, которое никогда не наступит. Она подвержена сегрегации, помещена в отдаленную тюрьму или, точнее, в сумасшедший дом. В противовес этому в «Что делать?» предлагается практиковать утопию как реальную возможность, как инструмент продуктивного воображения, а не как *фантастическую*, то есть отвлеченную, не связанную с текущей жизнью, *потенцию* (ср. притчу о реальной и фантастической грязи во втором сне героини). Практиковать утопию, «переносить из будущего в настоящее» — значит бороться за освобождение будущего.

Читатель и будущее: коммунизм как творческий принцип

Ранее уже отмечалось, что нарратив романа в точности соответствует изображаемому им миру — миру безудержного становления: все здесь находится в состоянии перманентных метаморфоз, события представляют собой точки бифуркации, раскрывая вариативность дальнейшего хода действия³⁰, и это рефлексировается самим повествователем как сознательный прием. Вслед за современными нарратологами³¹ такое повествование можно назвать виртуаль-

28 Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 96–105.

29 Baschet J. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Paris: La Découverte, 2018. P. 95–102.

30 Паперно И. Семиотика поведения... С. 148–165.

31 Шулятьева Д.В. Выбор есть всегда: повествовательные альтернативы как теоретическая проблема // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2025. № 94. С. 266–269.

ным (впрочем, увы, этот термин в нарратологии почти никак не пересекается с делёзовским пониманием виртуальности³²). Детальный анализ виртуальной нарративности «Что делать?» требует отдельного исследования, остановлюсь лишь на двух ее особенностях, связанных с проблемой времени.

Во-первых, мне кажется, нарратив Чернышевского можно и нужно понимать именно в связи с изложенными выше свойствами виртуальной темпоральности. Потенциальная вариативность событий, эксплицитно или имплицитно присутствующая в повествовании, не обязательно свидетельствует о том, что это повествование сосредоточено именно на контингентной множественности возможностей развития и тем более — на раскрытии самой динамики становления как постоянной медиации между актуальным и виртуальным. Для классической литературы, особенно для реализма XIX века, свойственны повествования, которые охотно указывают на возможность альтернативного развития событий, но эти потенциальные события, как правило, оказываются *disnarrated* по классификации Дж. Принса³³, то есть никогда не происходят как актуальные в рамках данного нарративного универсума. Их функция — подчеркнуть правдоподобие тех «фактов», которые «действительно» имели место быть³⁴. Актуальное и виртуальное в онтологии такого повествования строго разделены.

В отличие от этого у Чернышевского мы видим, напротив, их постоянную интерференцию и гибридизацию. Одна из ключевых линий интриги — «самоубийство» Лопухова — на протяжении почти всего повествования пребывает в странном статусе, опять-таки напоминающем симулякр Делёза. Если отвлечься от сути происходящего и вездесущей авторской иронии, можно предположить, что в потенции Лопухов мог «действительно» совершить самоубийство. Указание же на «дурацкий» (но в то же время «умный») характер этого возможного события вводится с самого начала. Кроме того, еще в «Предисловии» (третьей вводной главке) «проницательный читатель» догадывается, что самоубийство на самом деле не произошло и не произойдет. И можно было бы сделать вывод, что это событие является *disnarrated*. Однако эта «дизнаррация» в нарративе Чернышевского выполняет совсем иную функцию, нежели простое усиление правдоподобия.

Разумеется, повествование дает понять, что столь экзальтированные поступки не свойственны «новым людям», и это как будто подчеркивает «реалистичность» их прагматично-жизнеутверждающего настроения. Но главное, что именно фиктивное самоубийство Лопухова действует как событие, совершенно «реальное по своим последствиям»³⁵. При этом его трудно счесть простой продуктивной фикцией, которая бы работала в логике кантовского *als ob*, потому что это «самоубийство» никогда даже не выдавало себя за нечто актуально случившееся. Более того, оно, собственно, и не обладает сходством с поступ-

32 См., например, известную работу классика этого направления: *Ryan M.-L. Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001.

33 *Prince G. Disnarré / Disnarrated // Glossaire du RéNaF*. 2018 (URL: <https://wp.unil.ch/narratologie/2018/12/disnarre-disnarrated/>).

34 *Шулятьева Д.В.* Указ. соч. С. 282–283.

35 *Thomas W.I., Thomas D.S. The Child in America: Behavior Problems and Programs*. New York: Knopf, 1928. P. 571–572.

ком, который был бы в принципе возможен для «нового человека». Как указывает повествователь, другие «новые люди» понимают это без объяснений, хотя Вера Павловна по неопытности способна это уразуметь лишь спустя некоторое время, однако сама такая способность не подвергается сомнению. Иными словами, перед нами снова делёзовский симулякр, указывающий на вторжение виртуального в план актуального действия. И, если приглядеться, то большинство ключевых событий романа пребывает именно в таком статусе. «Фиктивный брак» Веры и Дмитрия, который опять-таки не просто выполняет свою роль в освобождении девушки «из подвала», а, превратившись в настоящий, приводит к дальнейшей коллизии, она же как раз и разрешается с помощью следующего симулякра — «самоубийства». Сходным образом функционирует сюжет о «болезни» Кати Полозовой и «эвтаназии», которую предлагает совершить Кирсанов: в каком-то смысле и «болезнь», и «эвтаназия» совершенно реальны, но при этом остаются лишь неактуализированными потенциями. Эти примеры как раз показывают полезность делёзовского различия между простой абстрактной «потенциальностью» и «виртуальным» как реальным моментом становления.

В романе есть и виртуальное в классическом нарратологическом понимании, реализованное в виде «встроенных нарративов»³⁶, — сны Веры Павловны. Однако мир снов, как мы отчасти уже убедились, не существует отдельно от «действительности», подобно абстрактным «возможным мирам». Он непосредственно мотивирован реальным и выступает как его значимое расширение, причем не только рефлексивное и символическое. Некоторые симулякры, появившись в актуальном мире романа, соединяют его с виртуальным. Например, «невеста», которую Лопухов придумывает, знакомясь с Верочкой, чтобы успокоить ее саму и ее мать относительно своих возможных намерений, переходит в сновидения, где уже играет иную, символическую роль, выступая в качестве фигуры бессознательного самой героини. Однако в некоторых случаях сны прямо влияют на развертывание основного действия. Например, третий сон, где «сестра своих братьев, невеста своих женихов» предстает в виде значимой для героини певицы Бозио, позволяет Вере Павловне понять, что она бессознательно любит не своего мужа, а его друга Кирсанова, что ведет к существенным сюжетным переменам.

Второе замечание, которое мне хотелось бы сделать относительно характера наррации, касается того, как в темпоральной структуре романного дискурса размещается фигура читателя. Виртуальная и мессианская темпоральность выше рассматривалась в основном применительно к диететическому аспекту становления, развертывающегося как на уровне самой истории, так и на уровне повествования. Но становление, как мы уже говорили, также имеет место на уровне акта наррации и — предположительно — акта чтения.

Безусловно, роман Чернышевского «тенденциозен» и направлен на пропаганду идей. Но что означает эта пропагандистская интенция с точки зрения коммуникативной структуры и постановки читательского внимания? Кажется, тут мы имеем дело с пропагандой особого рода. Проницаемость между миром героев и миром читателя, помимо прочего, подразумевает, что в романе последовательно прорабатывается не только «идеология» «новых людей», но и

36 Ryan M.-L. Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

практическая этика, делающая ставку на интенсивное общение и взаимопомощь. Все основные узлы интриги связаны с тем, что сами события и их смысл раскрываются через диалог. В диалоге с Лопуховым Вера узнаёт, что ее взгляды соответствуют нравственным, экономическим и политическим позициям «новых людей». Диалог с матерью во втором сне раскрывает динамику и условия возможности ее превращения в «нового человека». В «психоаналитическом» диалоге из третьего сна раскрывается неосознанная героиней истина чувств. В «теоретическом разговоре» друзей и в диалоге Веры Павловны с Рахметовым разрешается сложный философско-психологический узел первого брака. Подобного же рода диалоговая структура характеризует историю «спасения» Кирсановым Кати Полозовой. «Новые люди», при всей цельности их натур и «разумном эгоизме», постоянно нуждаются в Другом, они существуют в режиме новой, коммунистической социальности, естественной потребностью которой является взаимное участие. Мы вновь возвращаемся к идее «базового коммунизма» как «основы любого социального общения»³⁷.

В романе, пожалуй, только угрюмый Рахметов выглядит самодостаточной «монадой», не нуждающейся в диалогической поддержке. Но его автономность на самом деле не нарушает общий принцип этого коммуникативного коммунизма, построенного по модели асимметричного равенства: «каждому по потребностям, от каждого по способностям». Рахметов отдает, потому что *может*. Он вообще средоточие виртуального в актуальном «Что делать?» (и он тоже симулякр, но особый). По слову повествователя, он, строго говоря, вовсе не является «действующим лицом» романа: он практически не действует, а в основном лишь накапливает в себе всевозможные потенции — знания и разнообразный жизненный опыт, физическую и моральную силу и т.д. Поэтому его мощь, не будучи абстрактно-идеальной, сохраняется как чистая возможность, хотя это не исключает участия в судьбе некоторых героев — субсидируемых им студентов, немецкого философа, которому он отдает остатки своего наследства, спасенной им девятнадцатилетней вдовы и, собственно, Веры Павловны. Он, человек будущего, максимально нагружен «цитатами»³⁸ из прошлого: сословного (аристократ древнего рода), религиозного (его знаменитая «аскеза»), фольклорного (богатырство) и т.д. Это прошлое в нем не является «снятым» присутствием неких каузальных предпосылок и предшествующих актуализации возможностей, сохраняющих идентичность и преемственность линейного развития. Условно говоря, он «особенный человек» не потому, что аристократ, «аскет» или «богатырь». Все это — те же самые «фигуры будущего» как нового начала, тенью которого и оказывается его бэкграунд.

Но вернемся к диалогу: можно заметить, что все приведенные формы диалога напоминают сократическую диалектику и майевтику. Однако тут не должно быть aberrаций: в контексте «Что делать?» ее нельзя понимать ни как платоническое «припоминание» истины, которую каждый из собеседников Сократа знал, но забыл, ни как софистическую подтасовку, когда раскрытие истины подменяется манипулятивным внушением каких-то идеологических значений. Майевтика и диалектика «новых людей» Чернышевского — нечто, лежащее по ту сторону и платонизма, и софистики. Это майевтика и диалектика виртуального: Рахметов разъясняет Вере Павловне суть действий Лопу-

37 Гребер Д. Указ. соч. С. 98.

38 В беньяминовском смысле: Беньямин В. Указ. соч. С. 246.

хова не потому, что она и без него их понимает (это было бы абсурдной тавтологией), и не потому, что хочет, например, утешить ее, выставив бывшего мужа в дурном свете и т.п., а потому, что она *может* это понять. Знание, которое рождается в диалоге, не идентично тому знанию, которое предшествовало ему (ему ничего не предшествовало), но при этом важна его ретроспективная связь с самой возможностью человека уяснить истину.

Думаю, подобный же механизм лежит в основе диалога автора с экстрадиететическим адресатом наррации или имплицитным читателем, образ которого (тоже являющийся, как водится, симулякром) проступает сквозь те многочисленные читательские лики, с которыми повествователь взаимодействует явным образом и на которых мы останавливаться не будем. Нам здесь важно по большому счету только то, что сама метанарративная и метафигиональная игра с читателем, как и рассказываемая история, являются частью интриги, полностью посвященной искомому диалогу. Предполагается, что этот неведомый возможный читатель *может* понять роман (помним, что с частью публики автору уже «не нужно объясняться»), так как именно этому читателю принадлежит будущее, однако вовсе не потому, что Чернышевский абсолютно уверен в неизбежности грядущего водворения «новых людей» и их принципов общежития.

Согласно теории Эмманюэля Левинаса, процитированного в эпиграфе к этому эссе, само будущее как онтологическая структура имеет место и открывается нам потому, что существует Другой как свободное, непредсказуемое и контингентное сознание. Разумеется, читатель, которого взыскует автор «Что делать?», может понять его текст как книгу политических рецептов и предписаний, как хитрую систему идеологических обольщений. Это тоже часть того, что *может* случиться, и, как мы знаем из истории рецепции романа, в основном при чтении романа именно так и происходит. Но это не означает, что не существует других возможностей...

Думается, роман как высказывание представляет собой жест в точном агамбеновском смысле: это не столько высказывание, стремящееся достигнуть цели, сколько указание на сам процесс, на саму возможность действия как таковую³⁹. Вероятно, именно в смысле презумпции чистого действия и стоит понимать «действительность» в эстетической теории Чернышевского — реализм акта, а не реализм факта. Именно акт высказывания выводит нас в «оперативное время», в мессианский и виртуальный хронотоп. Обращенность и устремленность «Что делать?» к Читателю как условию возможности будущего — это акт *высвобождения возможного*, жест освобождения будущего от капиталистической геттоизации и колонизации настоящим и в конечном итоге жест эмансипации Читателя.

39 Агамбен Дж. Заметки о жесте // Агамбен Дж. Средства без цели. Заметки о политике / Пер. с итал. Э. Саттарова. М.: Гилея, 2015. С. 55–66.

Библиография / References

- Агамбен Дж. Заметки о жесте // Агамбен Дж. Средства без цели. Заметки о политике / Пер. с итал. Э. Саттарова. М.: Гилея, 2015. С. 55–66.
- (Agamben G. Note sul gesto // Agamben G. Sredstva bez tseli. Zametki o politike. Moscow, 2015. P. 55–66 — In Russ.)
- Агамбен Дж. Оставшееся время: комментарий к Посланию к римлянам / Пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- (Agamben G. Il tempo che resta. Un commento alla «Lettera ai Romani». Moscow, 2018 — In Russ.)
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012.
- (Bakhtin M.M. Sobraniye sochineniy: In 7 vols. Vol. 3. Moscow, 2012.)
- Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения / Пер. с нем. И. Болдырева, А. Белобратова и др. М.: РГГУ, 2012.
- (Benjamin W. Die Lehre vom Ähnlichen. Medien-ästhetische Schriften. Moscow, 2012 — In Russ.)
- Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
- (Graeber D. Debt: The First 5000 Years. Moscow, 2015 — In Russ.)
- Делёз Ж. Логика смысла. / Пер. с фр. Я.И. Свирского. М.: Академический Проект, 2011.
- (Deleuze G. Logique du sens. Moscow, 2001 — In Russ.)
- Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза / Пер. с фр. Я.И. Свирского. М.: ПЕР СЭ, 2001.
- (Deleuze G. Empirisme et subjectivité. Essai sur la nature humaine selon Hume. La Philosophie critique de Kant. Le Bergsonisme. Spinoza et le problème de l'expression. Moscow, 2001 — In Russ.)
- Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1859–1864). М.: РОССПЭН, 2019.
- (Demchenko A.A. N.G. Chernyshevskiy. Nauchnaya biografiya (1859–1864). Moscow, 2019.)
- Кантор В.К. «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
- (Kantor V.K. «Srublennoye drevno zhizni». Sud'ba Nikolaya Chernyshevskogo. Moscow, Saint Petersburg, 2016.)
- Корчинский А. «Жертва — сапоги всмятку»: этическая экономика в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» // Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения. Сборник статей / Под ред. Й. Херльта, К. Цендера. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 103–121.
- (Korchinskiy A. «Zhertva — sapogi vsmyatku»: eticheskaya ekonomika v romane N.G. Chernyshevskogo «Chto delat'»? // Izobiliye i askeza v russkoy literature: Stolknoveniya, perekhody, sovpadeniya. Sbornik statey / Ed. by J. Herlt, K. Zehnder Moscow, 2001. P. 103–121.)
- Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека / Пер. с фр. А.В. Парибка. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998.
- (Lévinas E. Le temps et l'autre. Humanisme de l'autre homme. Saint Petersburg, 1998 — In Russ.)
- Паперно И. Семiotика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
- (Paperno I. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior. Moscow, 1996 — In Russ.)
- Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68 (4). С. 102–127.
- (Paperno I. Sovetskiy opyt, avtobiograficheskoye pis'mo i istoricheskoye soznaniye: Ginzburg, Gertsen, Gegel' // Novoye literaturnoye obozreniye. 2004. № 68 (4). P. 102–127.)
- Реgev Й. Коинсидентология. Краткий трактат о методе. М.: Транслит, 2015.
- (Regev Y. Koinsidentologiya. Kratkiy traktat o metode. Moscow, 2015.)
- Руденко Ю.К. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: Эстетическое своеобразие и художественный метод. СПб.: Издательство Сергея Ходова, 2018.
- (Rudenko Yu.K. Roman N. G. Chernyshevskogo «Chto delat'»? : Esteticheskoye svoyeobraziye i khudozhestvennyy metod. Saint Petersburg, 2018.)
- Шулятьева Д.В. Выбор есть всегда: повествовательные альтернативы как теоретическая проблема // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2025. № 94. С. 266–269.
- (Shulyat'yeva D.V. Vybore est' vseгда: povestvoval'nyye al'ternativy kak teoreticheskaya

- problema // *Tomsk State University Journal of Philology*. 2025. № 94. P. 266–269.)
- Baschet J.* Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Paris: La Découverte, 2018.
- Bevir M.* Historicism and Critique // *Philosophy of the Social Sciences*. 2015. № 45. P. 227–245.
- DeLanda M.* Deleuze: History and Science. Saas-Fee: Atropos Press, 2010.
- Drozdz A.* Chernyshevskii's «What is to be Done?»: A Reevaluation. Evanston: Northwestern University Press, 2001.
- Kliger I.* Auto-Historiography: Genre, Trope, and Modes of Emplotment in Aleksandr and Natal'ja Gercen's Narratives of the Family Drama // *Russian Literature*. 2007. Vol. 61. № 1–2. P. 103–138.
- Lampert J.* Deleuze and Guattari's Philosophy of History. London: Continuum Books, 2006.
- Lundy C.* History and Becoming. Deleuze's Philosophy of Creativity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
- Prince G.* Disnarré / Disnarrated // *Glossaire du RéNaF*. 2018 (URL: <https://wp.unil.ch/narratologie/2018/12/disnarre-disnarrated/>).
- Ryan M.-L.* Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001.
- Ryan M.-L.* Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
- Thomas W.I., Thomas D.S.* The Child in America: Behavior Problems and Programs. New York: Knopf, 1928.
- Vaysman M.* Self-Conscious Realism. Metafiction and the Nineteenth-Century Russian Novel. Oxford: Legenda, 2021.
- Virno P.* Déjà Vu and the End of History. London; New York: Verso, 2015.